

ЗАБЫТЬ БОДРИЙЯРА, ИЛИ ЖИЗНЬ КАК ПОВОД

Настоящая статья является откликом на уход из жизни (6 марта 2007 года) одного из самых значительных философов двадцатого столетия Жана Бодрийяра. Это не портрет мыслителя и не краткий очерк его жизненного и творческого пути, скорее, пафос текста имманентен настроениям философа, особенно последнего периода его творчества: мотив финализма и неподлинности антропной реальности – «доминантный очаг» рефлексий французского мыслителя.

Что произошло бы, если бы вдруг выяснилось либо попросту вам сообщили, что он не умер, что это была утка? Не произошло бы ровным счетом ничего, разве что чья-то бровь вскинулась бы в удивлении, да и то деланном: кто-то умер, кто-то, кого мы не знали (мы слышим такое часто, на каждом шагу в течение всей жизни, нашей жизни), кто-то где-то там был, был значим, там и сям его видели, слышали, поскольку сами же и приглашали, – кто-то не умер или все же умер – нет разницы – потому как этот КТО-то и не был вовсе. По примеру Гегеля можно попросить потрудиться указать у себя, свое, то самое место, пространство, экспонацию смыслов и значимостей, где Он был (или есть?), указать *то*, что этим обрывом – смертью – обрекло на вечное вращение и обращение этих самых смыслов и значимостей, по кругу, без доступа к очередному, новому. Перефразируя софиста, – невозможно потерять то, что ты не имел, – это к тому, что непреодолимо ощущение себя заложником неясности, что значит *иметь, обладать, знать, любить...* неясности особенно ощутимой, когда случай именно таков: не стало некой некогда мыслящей, пишущей инстанции, «автора». Эти две неясности – что ты имел и что ты потерял – суть одно, но экспонируют нам себя зачастую по-разному. Что же ушло из жизни, чем оно было для нас и было ли чем-то, если исключить фигуратив из галереи, предоставляющей некоторым «сферам (и полусферам) знания» вид на жителство и на корм? Имя-то громкое, и всем – кто мало-мальски причастен, посвящен – «на ах!» что-то говорит. Но чем же гремит оно, что говорит, что сказал нам Бодрийяр или «Бодрийяр», или – используя его собственное выражение (вопрошание) – «что в

остатке?» Что за ракурс, аксиокопус, послевкусие, вообще кухню он «реально», действительно, сущностно нам оставил и мы обладаем (?) теперь этим? Речь не о прагматической ценности, значимости и полезности этой прожитой жизни, не об оценке, а о выявлении, вернее, возможности, попытке выявить сущностность и консистенцию этого послевкусия, речь о наследовании. В широком контексте *вообще литературы* Бодрийяр был *модным* автором; еще пару поколений назад уместной и правомерной была бы фраза *был и остается..*, но в этом-то все и дело, дело пафоса, «задачи» настоящих заметок: сдается нам, что... *не остается и не останется*. Почему? Ответ – у самого Бодрийяра, в предметности и материале *его* работ, в *его* пафосе – выводах и... приговорах. Он сам приговорил себя, «Бодрийяра», забвению, ибо всякий захваченный чувством лишен его авторства, то есть если все так, как предсказал и указал Бодрийяр (у нас не вызывает сомнений), то «массы», окутанные теми (о которых речь впереди) «как-бы-чувствами», претерпеванием – как во взвеси – особых ощущений, каковые правильнее было бы именовать бесчувственностью, отторгнуты, удалены от источника, от причинности, от метафизики происходящего, влекомы тотальной инерционностью, «массы доживают».

Бодрийяр не вопиет к подлинности, а скорее ворчит, подчас ядовито, но не злобно, не оголтело – однако в любом случае безнадежно, без надежды стяжать ее в мире, для мира; эта грусть – даже не ностальгия, а безысходность претерпевания духоты, удушья неподлинности запертым в катакомбах урбанизации, запертым катастрофой, происходящей снаружи, извне, свыше, катастрофой ощутимой, несколько понятной, но не зри-

мой; это зло прозрачно, это смерть, но смерть не классическая, не экзистенциальная: не умирание, а знак, как на въезде в населенный пункт дорожный указатель, щит: обратите внимание – СМЕРТЬ, она непостижимо – как в оторопи – фактуальна без фактов, без событийности, без освидетельствований и причастности – всегда в *прошедшем совершенном* (виде) – уже произошло. Такая смерть – одиночество *заброшенности*, когда невозможна и не нужна (отсутствие мотива) реконструкция или реанимация; беглый взгляд из окна проносящегося трансформера – моментальный кадр: *свалка*, там все – «референция», напоминание, указание на то, чем оно было или что оно *было чем-то*.

Невообразимо, немислимо делать с этим что-то, никакая нарочитая, искусственная функциональность туда не вхожа, повсюду – только след уже свершившегося неподфиксативно, незримо для всех, для «бытия», как если бы мы стали очевидцами строительства муравейника, по завершении которого все – и структура, и сами муравьи – в одно мгновение застыли бы, превратились в восковые фигуры, муляж. Такое – «строительство», процессуальность, превращение – разъяты в действительности, разнесены и нелабильны никакой рефлексии и аналитизму, для этого никогда не будет выработана методология. Бодрийяр – тот, кто свел в едином пространстве, в единой длительности-значимости эти «изнанку и лицо», эти физио-номии, представив их *со-отнесенность*; то, что получилось у него, не есть лапидарная, двуступенчатая каузальность, это скорее два плана, доселе не экспонируемые в одной форме, но образуют некую органичную новую структуру, здесь нет корреляции, они существуют смежно, рядоположно и самодостаточно: тем более чудовищным оказывается эффект их единосущностной связности, полноты при-сутствия – *неостановимой, тотальной конструктивной длительности и смерти как окаменелости, осадка, шлака* – это как бодлеровская «Красота» – все здесь и сейчас, фатально и одновременно под эгидой царства всеобщей обратимости, плана негенеративного обращения. Такой пафос – приговор не только «сущностям», «основаниям», опера-

бельным понятийным единицам любой сложности и вообще всей философии, но и самому «человеку». Это не проблема словаря и степенной конвенциональности, это не проблема экзистенции и не проблема сознания, это не проблема, потому что ее нет, нет проблемы. Есть умопомрачительный эффект (причем был всегда, так как ясность заказана), недоумение. Это фатальный фон и консистенция, условие, где, как во взвеси, есть, длимся мы, но *кто* это – *мы* – и *как* это, мы не знаем. Это неведение оттого, что форма, динамика и результат любой процессуальности нам неподотчетны и неконтролируемы, поскольку процессуальность так или иначе обращена к вещи, к вещам, которые, Кант прав, нам *не даны*, лежат ли в кармане, покоятся ли на полках, страницах («Капитала»), таблицах (Менделеева) или в гараже – их физио-номии, «явствования» маячат перед нами, фиглярствуют, «соблазняют» – но это как голограммы – *эффект* реальности; в такой ипостаси, в таком качестве, вернее, бескачественности (непостижимой неустойчивости ни одного из умозрительно, мнимо комплекующих «вещь» качеств) *вещь* простирает свою мороковость, умопомрачительность, псевдосущество и на нас, как бы иных, живых, как бы существующих и как бы умирающих, но это не есть Смерть, это режим, стадия, это мандала нерегенеративного «КАК БЫ», то есть уже даже не симптоматика.

Все человеческие реакции, всю *разнообразную* работу эмоционального комплекса, сгустка, клубка, именуемого душой, а также все реакции *разнообразного* мира, который «не есть мы» (?) можно свести к одному «Да», поскольку ни предугадать, ни объяснить, по большому счету, нам не дано, а «большой счет» есть не что иное, как режим «заброшенности» – включенности (как запуск механизма) и претерпевания – в общем контексте *со-отнесенности*, маркером, дифференциалом, но и эквивалентом которого ЯВ(Б)ляется смерть, смерть в бодрийяровском разумении, *смерть как ступор здесь-при-сутствия*. Такое «Да» пре-возмогает все – локковскую *tabula rasa*, кантовскую апперцепцию, любую предельную индифферентность, лакуну, зи-

яние, любое полное, любое никак – все покрывается, как кратным, этим фиксирующим «Да», этим пределом возможностей констатации: это восклицание способно произрасти на почве, лишенной голоса, эмоций, реакций, суждений, его сущность – что, где и как его порождает – в отсутствии сущности, можно сказать, что это абсолюте, потому как не низложим пустотой, это *чистое* про-, мета-, сверх-со-бытие. Оно знакомо человечеству на протяжении всей его истории и за ее пределами, до рождения болтливой Клио, «ибо не умрет вовеки то, что не рождалось никогда»: оно, это «Да», присутствовало при Сократе, принимающем чашу, и в самой циклоте, при очередном падении лезвия гильотины – как для соглядатаев, так и для казненного, при таране боингами башен-близнецов – как для «пилотов», так и для находящихся в торговом комплексе, как для очевидцев с улицы, так и для очевидцев у экранов телевизоров и т. д., нет разницы *что* происходит (строительство башни или протаранивание ее) и *как* происходит («прямо на наших глазах», «прямо на наших глазах-у-экрана-телевизора»), кадры ли это «реальной» катастрофы или фрагмент очередного триллера), «все равно, написать «Бесь» или выпить кофе со сливками» (Ж.-П. Сартр). Именно этому «Да» суждено стать последним человеческим восклицанием или безмолвной реакцией (?) на любую развязку фабулы о человечестве, и здесь нет ничего патетического, риторического, стоического и тем более героического или религиозного, это «Да» – конечная констатация: *это так* или *вот оно как*, *sic*. Р. Барт: «...так поступил дзенский учитель, который на торжественный вопрос: «Кто такой Будда?» снял сандалию, положил ее себе на голову и так удалился: безупречное уничтожение последней реплики, господство не-господства» («Фрагменты речи влюбленного»), это то же самое «Да» – вне зависимости от разумения или неразумения – которое адресовано (без адресата) всему происходящему с нами и всему, что может произойти...

А еще вещи, вещи, вещи; наше с ними присутствие, сопутствие – это не просто неразъемный, имманентный тандем: глупо было бы полагать, пестовать и дальше ми-

фологию сотворенности их нами – ОНИ БЫЛИ ВСЕГДА. Иногда аналитики, суждения Бодрийяра буквально дышат Сартром: действительно *техно-логи*и упреждают, предшествуют техникам и, соответственно, самим вещам, которые томились в нас изначально, изначально же имея власть над нами, потому как и являлись нами самими, только купированными и трансгрессивными. Эта власть крепла, трансгрессия ускорялась, пока не привела нас к состоянию аккредитованных заложников, к «обществу потребления». Вещи – это не просто так, это наше генезисное уложение, наше рудиментарное «прошлое», которое, как известно, всегда в настоящем, в единственной реальности «антропной формы бытия», всегда *здесь-бытие*. Они не просто живые (мы не питаем пристрастий к реанимации различных ипостасей гиллозоизма), но они попутчики и даже провожатые в едином, тотальном контексте соприсутствия и соотнесенности. Они существа, *существа-тексты*.

Существа-тексты – ноэматические корреляты, существа-ноэмы, «означающее» в чистом виде или означенное, экзистенциально значащие референты, вещи с вдохнутой в них индивидуальностью (частной судьбой) жизнью, психические категории-образы, вещи, в своей совокупности являющие физис, имеющий биографию в памяти субъекта; всегда соотнесены с сознанием и им обеспечены, всегда зависят от моментального состояния психики и от стратифицирующей памяти, слагающей историю существа актом воспроизведения значения (имевшего место) и вновь происходящего наслаивающегося означивания, помещения в уже сотворенный, произошедший, закрепленный за *существом-текстом* контекст «поля бытия» *существа-текста* дополнительных значащих черт; всегда зависят, специфичны и производны от специфики интенции и потенции мышления, всегда – только фигуры ноэматические (рефлексивные, психо-эмоциональные, суггестивные и проч.), за пределами которых остается (мыслимо определяется, при-знается) часть сущностной структуры *существа-текста*, которая воспринимается как до-памятное и вне-памятное, вне-субъектно-существующая

часть, как само-по-себе-бытие существа-не-текста, предметное нечто.

Существа-тексты концептуально могут быть представлены единением двух гуссерлевских понятий: «материи интенционального акта» и «интенционального объекта», при том, думается, они не исчерпываются (в смысловом поле сущностей) этой парой экспликат (как не может быть целостно эксплицировано ни одно существо и ни одна сущность), а представляют метафизическую категорию, референции которой являются сознанию во всем (неисчерпаемом и неисчислимом) многообразии форм, профом и трансформ; явление, бытие языка в этом случае есть события пере(про-)живания, сопереживания, события реагентности активностей, под которыми понимается качественный потенциал, способность реагировать, то есть переживать изменения, модусы движения как категории, обозначающей идеальное и абсолютное. *Существа-тексты* воспринимаются, ложатся на поля памяти сознания (мозга?), привлекая, возбуждая, перцептивно и эйдотически активизируя избирательно определенное поле, матрично фиксирующее эйдос существа (образ) либо имманентно откликающееся (у Гуссерля «идентификация объекта») на узнаваемую сущность и формацию¹. При этом эйдотическое всегда уже есть, «имеет место», дано взаимодействующим активам и, являясь нетрансформным, непреходящим, является общим для обоих взаимовоспринимающих(-емых) активов (существ во взаимодействии), это и есть означенность, тогда как перцептивное, образное суть преходящее, зыбкое, текучее, необратимое, длительностно характеризуемое и отнесенное – является означиванием, эйдетикой языка, – процессом, никогда не достигающим (не постигающим) абсолюта, то есть Эйдоса (который здесь можно определить как идеальную сущность, формообразующий принцип, закон), а потому являющимся

бесконечным (относительно бытия), имеющим бесконечный бытийный горизонт возможностей (проформационных) в длительностной и формообразующей проявляемости, поэтому, именно «в силу» недостижимости, а точнее, невозможности обретения ипостаси Эйдоса любым означиванием (умопостижением, смыслоусмотрением-полаганием), – невозможно говорить о какой-либо измеряемости или исчисляемости Эйдоса (эйдосов), потому как означенность, или эйдотическое, всегда само является основанием (непостижимым) для любой исчисляемости, измеряемости (для любого рационального и эмпирического), являясь в отношении бытийного существования так называемым «трансцендентным» (или попросту неданным, неявленным) и формогенезным¹. *Существа-тексты*. Их мириады. Вся наша жизнь нашпигована, кишит ими. И это не только «физис». Их повести, их напоминания, их обращения к нам могут быть настолько сильны, что становятся судьбоносными. За долгую, полную перипетий жизнь мы обрастаем ими, и иные из них настолько могут *значить* (обеспечивать амплитуду эмоционального фона, онтологического корпуса нашего существа), что утрата таковых, кажущаяся стороннему пустяком, способна повергнуть в неизбежный сплин, а то и привести к катастрофе адресата, соителя, внемлющего. Они, эти «вещи», являются как бы хранителями периферий нашего эйдотического корпуса, нашего памятного. «Память» – старейшая метафора чувства постоянно стратифицирующегося Эйдоса (эйдосов), чувства неэксплицирующейся реальности, постоянно пребывающей и прибывающей, постоянно творящей нас и в согласии, в «содружестве» (А.Ф. Лосев) с нами.

Можно встретить в текстах критиков «высшего эшелона» философии указания или даже упреки в адрес Бодрийяра в том, что у него нет концепции, он не «сотворил

¹ Залоговость (страд.) всего выражения здесь не носит принципиального характера, другими словами, фразу можно было бы построить так: сознание (мозг) имеет в наличии поля, реагирующие (вступающие во взаимодействие) на определённые активы, воспринимаемые в широкой модальности, равно как можно сказать и об этих воспринимаемых активах, что и они воспринимают поля, то есть речь идёт о *взаимодействии*, а вытекающее из этого взаимодействия отношение и есть з н а к, событие смысла, эйдетика. Тогда возможно-существующий «объективный» мир, не явленный сознанию, не взаимодействующий, действительно оказывается неимманентным, не данным, а следовательно – невозможным, незнакомым, не бытийным и потому даже не проблематичным.

концепт»; такое замечание прибавляет в весе в контексте последней совместной работы Делеза и Гваттари «Что такое философия?», позиция авторов которой в отношении задачи и цели философии в том, что они – в сотворении концепта(-ов). Давайте разберемся. Даже по строгим меркам Делеза и Гваттари в отношении формализации мысли, суждений, полаганий для соответствия понятию *концепт* работа Бодрийяра «Соблазн» вполне отвечает этим требованиям. Но не это главное. Вряд ли «Соблазн» явился следствием, реакцией на упреки критиков, то есть демонстрацией собственных возможностей. Скорее всего французский мыслитель и не рассматривал свое детище в таком контексте, вот, мол, и я не хуже других, сподобился «сотворить концепт». Ведь не секрет, что никто (за исключением, пожалуй, Ролана Барта) из значимых современников не избежал язвительности или даже сарказма Бодрийяра: этакий холодный отрезвляющий душ приняли многие, другие были отмечены фигурой умолчания, может быть и «обходят планеты старательно друг друга», но здесь не все так просто. Бодрийяр бросил вызов самой ментальности, и не просто ее современным формам, а стадии всей западноевропейской культуры, особому качеству ее завершения, итоговости: «мы доживаем». Такой финализм кратен всем «традициям» и «инновациям» нашего непростого *сегодня*, само собой, он распространяется и на философию, конец которой объявлен Бодрийяром не фигурально, не в отношении некоторых проблемно-тематических аспектов либо специфик определенных дискурсов, а абсолютно, это даже не хайдеггеровское *un folio*, а приговор смехотворной инерционности, потугам в тотальном контексте не востребованности. Действительно, кому она нужна сегодня, кто ее читатель? Разве что некая праздная инстанция, – в некоем зеркальном кульбите произошедшая рокировка: если изначально праздность объявлена лоном философии как руководства к действию (или бездействию), по крайней мере к специфике этого онтического жеста, то ныне любые усилия «структуры», возлюбившей мудрость(-ство-

вание), только и способны что вызвать отклик праздности, праздного любопытства, обратной стороны скуки, да и то не сильный... Возможно, в случае с Бодрийяром мы имеем феномен реверсии, бри-коллажа: достигнув предела, уткнувшись в пустоту, онтическую лакуну нелюбви, отсутствия внешнего, философия подалась вспять, не вознамерилась, а просто откатывается. У Бодрийяра прозрачно просматривается принесение традиции в жертву рефлексии, каковая всегда, по большому счету, мыслилась недостаточным основанием, уложением и определением «царицы наук». Бодрийяр выбирает онтику, со всей ее для него неприглядностью, подчас чудовищностью форм, порождений действительности, увязшей в мороках. Адекватная форма поведения о ней – рефлексия, с критичностью и диагностикой ей сопутствующими. Смешно упрекать приговорившего мир утонуть в неподлинностях в отсутствии концептуализации этого самого мира. В работе «Забывать Фуко», своеобразном реквиеме одному из самых ярких и модных современников (отголосок названия которой прозрачен в названии настоящей статьи) Бодрийяр, отмечая недюженный талант, авторскую мощь и изощренность, отмечает нечто весьма превосходящее и подавляющее высокие оценки: все тексты и пафос Фуко самодостаточны и самодовлеющи, они не продуктивны, ибо не обращены ни к кому; здесь, памятью Барта («Фрагменты речи влюбленного»), можно было бы сказать «язык красуется», более того, Бодрийяр настаивает на том, что Фуко в полной мере отдает себе в этом отчет, так как подобное могло бы быть высказано, дискурсивно зафиксировано только по истечении времени, по завершении, уже случившись, произойдя, а значит, отмечено печатью излишества, «неактуальности», то есть это триумф резонера и успех постфактум, а аргументация – *ad hominem*. *Забвение Бодрийяра*, которое мы не пророчим, но которое имманентно его собственному пафосу, иное, чем то, что провозгласил Бодрийяр в отношении Фуко. Оно из респонденции неизбежного – как умирает все, причем, действительно, канув в Лету,

в забвение, потому как более не будет привлечено к существованию, по крайней мере в той консистенции и форме сущностного напряжения, в которых оно длилось до недавнего времени, до 6 марта 2007 года; мы допускаем, что может появиться respectable кабак где-нибудь на Старом Арбате или Староконюшенном, например, «У Бодрийяра» или попросту «Бодрийяр», но это не память, это даже не бесславный конец, даже не китч, это пубертатная ужимка, глумление действительности, напророченной Бодрийяром, – он сам приговорил себя

в ряду всех других, объясняющих мир (которому это не нужно ни в какой форме), приговорил забвению, которое не в грядущем, а уже про-изошло, как и с Фуко, только по другим (?) меркам. Провозглашенная эпоха симулякров очевидно уже при жизни приступила к производству резиновых кукол, значков с изображением, брендов с именем Бодрийяра, это наше ферментированное, специфика готовности продукта, который и может быть употреблен только в таком виде, в виде симулякра. «Светлая память. Аминь».